

АЛЕКСАНДР КОЛЮЧИЙ

ВЕДОМОСТЬ

НАВЫК ОТКРЫТ

СТРУЯ · I



РЕАЛРПГ

СИСТЕМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ

I

Системный Пожарный

Александр (Колючий)

Системный Пожарный I

«Автор»

2026

(Колючий) А. Л.

Системный Пожарный I / А. Л. (Колючий) — «Автор»,
2026 — (Системный Пожарный)

Пятнадцать лет стажа, две тысячи выездов... А погиб, вытаскивая ребёнка из горящей расселёнки. Очнулся в теле нищего дворянского недоросля. Наследство небогатое: сестра двенадцати лет, четыре рубля двадцать копеек и самый смешной Дар империи — бытовая Влага. Ею хорошо не давать воде киснуть в погребке и сушить портянки. А ещё в первый же день на стол кладут отцовский вексель. Триста рублей долгу, срок — Покров. При неуплате сестру запишут в людство чужого рода... Ну и в голове завелась счётная контора для полного счастья! Причём считает она не спасённых, а лишь убыток, которого не случилось. И растёт он только с этого. Ещё и Зарядье горит каждую пару дней. Пожарных труб тут на всю Москву три, а рабочая из них вообще одна!

© (Колючий) А. Л., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Двадцать восемь секунд	5
Глава 2. Четыре рубля двадцать копеек	14
Глава 3. Казённая цена	21
Глава 4. Тихий человек	28
Интерлюдия I. Ножовый переулок, 21 мая	34
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Александр (Колючий) Системный Пожарный I

Глава 1. Двадцать восемь секунд

В расселённой пятиэтажке гореть нечему. Так считал диспетчер, так считал дежурный по части, так считали вообще все, кроме самой пятиэтажки: она горела со второго по четвёртый, по всей левой секции, и горела с душой. Перекрытия деревянные, засыпка шлаковая, марш держится на честном слове и двух арматуринах. Двенадцать минут до того, как всё это сложится внутрь. Ну, пятнадцать, если повезёт.

Не повезло.

— Гордеев, назад! — орал в гарнитуре Стёпа. — Второе звено на подходе, две минуты! Слышишь меня? Стой где стоишь и жди!

Отличная мысль. Просто прекрасная. Второе звено на подходе, а на балконе третьего этажа стоит пацан лет шести и держится за перила, потому что больше держаться не за что. Ждать он не будет — он там вообще ничего не будет уже минуты через две.

— Работаю, — сказал я и завершил разговор.

Пятнадцать лет стажа, две тысячи выездов, четыре выговора и одна медаль, которую я так и не забрал из конторы. Я умею считать риск — это, если честно, единственное, что я по-настоящему умею. Не лезть красиво, а считать, сколько у меня осталось, и лезть ровно на эту сумму, ни секундой дольше. Вот и сейчас: сижу на балконе, передаю мелкого через перила второму номеру, а в голове идёт ровный отсчёт. Кровля дала просадку, звук пошёл гулкий.

Это плохой звук.

А потом мелкий говорит:

— Там Санька.

Ну конечно. Всегда есть Санька.

— Где Санька? Смотри на меня. Где он?

— В ванной, — сказал мелкий очень спокойно, как говорят те, кто уже надышался. — Он дверь подпёр. Он боится.

Логично. Все боятся. Я, между прочим, тоже, просто мне за это платят.

Дальше было двадцать восемь секунд. Я прошёл коридор по памяти, нащупал дверь ванной и выдернул её вместе с косяком — подпёрта она была изнутри тазом, потому что Саньке восемь и Санька тоже умел считать риск, просто считал его неправильно. Схватил, развернулся, и тут наверху что-то мягко ухнуло, будто кто-то очень большой сел на диван. Я успел сделать ровно одно: кинул пацана вперёд, в проём, где уже стояло второе звено и орало так, что было слышно сквозь маску.

А потом сверху пришла вся эта пятиэтажка целиком.

Больно не было, врут, что больно. Было тесно, очень тихо, и в этой тишине кто-то посторонний спокойно сказал: «Ну и дурак».

Сам такой.

Очнулся я от того, что мне холодно в спину. Это, кстати, была первая мысль — не «где я» и не «что со мной», а именно «холодно в спину»: пятнадцать лет тебя учат, что сначала надо определить, чем ты дышишь и на чём лежишь, а уже потом задавать вопросы мирозданию. Вторая мысль была лучше первой: если холодно в спину и жёстко под лопатками, значит, спина есть и лопатки тоже. Для человека, на которого только что сложилось перекрытие, новость просто отличная.

Открывать глаза я не торопился — сначала опись имущества. Руки на месте, обе. Ноги на месте, обе, и в коленях гнутся. Голова гудит ровно, без пульсации: сотрясение, лёгкое, бывало хуже. Рёбра целы, дыхание не рвёт. Запах — дым, но не свежий, а недельной давности, въевшийся в волосы и в одежду. А под щекой не простыня, а что-то суконное и колючее. Так. И где тогда приёмный покой, где бригада и почему так тихо?

Я открыл глаза. Потолок был низкий, бревенчатый, закопчённый до черноты, и до него было аршина три. Между брёвнами торчала пакля, по пакле деловито шёл таракан, и таракан был размером с мою фалангу.

— М-да, — сказал я вслух. — Это не реанимация.

Голос оказался не мой: выше на терцию и моложе лет на пятнадцать. Я поднял руку к лицу, и рука тоже оказалась не моя — молодая, тонкая, жилистая, с обломанными ногтями. На тыльной стороне левой кисти ожог недельной давности, розовый, уже не болит, а только чешется. На большом пальце мозоль от чего-то узкого. От пера, наверное.

Знаете, что самое странное? Я не испугался. Лежу в чужом теле, под чужим потолком, с чужой мозолью на пальце, а внутри полная рабочая тишина — такая же, как на адресе, когда из машины уже видно, что там не задымление, а полноценный этаж, и всё, что ты сейчас подумаешь, определит, сколько человек доедет до больницы. Паниковать буду потом. По записи, в отпуске, за свой счёт.

Пока — считать.

Считать оказалось из чего. Память в этой голове лежала чужая, но лежала вся, целиком и аккуратно, как инструмент на щите: подходи и бери. Не личность — личность выгорела начисто, от неё осталась зола да пара привычек, — а именно знания. Имена. Цены. Дорога до реки. Кто в доме главный. Спасибо, парень, ты был не силён, но внимателен.

Итак, что мы имеем. Имеем год тысяча семьсот семьдесят третий, месяц май, число двенадцатое, и Москву. Имеем Зарядье — тот самый кусок города под кремлёвской стеной, который я в прошлой жизни знал как парк с висячим мостом и мороженым по четыреста рублей. Никакого парка: посад, тесный, низкий, сырой, деревянный, улицы в полторы сажени. Полторы сажени — это метра три. Автолестница не пройдёт. Да что лестница, телега с бочкой не пройдёт.

Имеем имя. Артемий Григорьевич Ртищев, девятнадцати лет, из дворян.

Артемий. Почти Артём.

Вот за это, кто бы всё это ни устроил, отдельное спасибо: не придётся вздрагивать, когда позовут. Мелочь, а приятно, и, может, я даже не выдам себя на первой же неделе. Дальше. Что у нас с активами? А с активами беда: двор Ртищевых сгорел в ночь на девятое мая вместе с отцом, Григорием Саввичем, который из этого двора не вышел. Четвёртый день, как их приютили соседи — из милости. А парень лежит с тех самых пор, и лежит, судя по всему, потому, что вытаскивал отца и не вытащил.

И последнее по списку, но не по значению: у парня был Дар.

Вот тут я даже сел поудобнее, потому что это было уже интересно. Настоящая, законная, с записью в казённой книге магия: одарённые роды здесь — верхушка дворянства, и по ветви человека меряют вернее, чем по деньгам. Ветвь, разряд, запись в Даровой книге, герб с жилой.

И что же досталось мне? Влага. Четвёртый разряд.

Я полез в чужую память за подробностями и честно минут пять надеялся, что чего-то недопонял. Не давать воде киснуть в погребе. Сушить портянки. Отпотевать окна к празднику. Ещё можно поднять из ушата два ведра и подержать их в воздухе, если очень постараться и потом полдня отлёживаться. Самая смешная ветвь империи: над водоносами тут не смеётся только ленивый, и то потому, что уже насмеялся. Я лежал и тихо офигевал, потому что двадцать лет прошлой жизни занимался ровно одним — доставлял воду туда, где она нужна, в нужном

количестве, под нужным давлением и в нужную секунду. Это вся моя специальность, если убрать оттуда людей, дым и мат.

Кто-то наверху обладает прекрасным чувством юмора.

— Ладно, — сказал я потолку. — Посмотрим.

И вот тут оно вылезло.

ВЕДОМОСТЬ. Опись наличного.

Имущество рода Ртищевых: 4 рубля 20 копеек, сундук с платьем, лавка.

Отвращённый убыток: 0 рублей.

Остаток к расчёту: 0 рублей.

Висело оно прямо в воздухе, в полутора аршинах от лица, полупрозрачное и совершенно спокойное. Буквы рукописные, канцелярские, с нажимом, — как в описи, которую составляет человек, которому решительно всё равно, что он описывает. Я закрыл глаза, сосчитал до трёх и открыл. Висит.

— Прекрасно, — сказал я. — Мало того что умер, так ещё и с бухгалтерией.

Честное слово, будь у меня выбор, я бы взял глюк поинтереснее. Чертей там. Тоннель со светом. А тут приходная книга, и в ней ноль рублей — Ведомость, которая чего-то ждёт. Чего именно она ждёт, я тогда не понял, и это, пожалуй, единственное, о чём я потом жалел.

— Ты сел, — сказали от двери.

В дверях стояла девочка лет двенадцати, худая, в сером платье не по росту, с тетрадкой под мышкой. Волосы заплетены туго и криво: сама себе заплетала и торопилась. Авдотья Григорьевна Ртищева, Дуня, сестра, — чужая память выдала мне это мгновенно и вместе с ощущением, которого я не заказывал: тёплым, тянущим и совершенно не моим.

— Сел, — согласился я.

— Ты три дня не садился. Матрёна говорила, что ты и не встанешь, что таких, как ты, она уже двоих обмывала и третьего обмоет. — Она не подошла, осталась в дверях и смотрела так, как смотрят на прохудившееся ведро: прикидывая, потечёт или ещё послужит. — Я ей сказала, что она дура.

— Матрёна ошиблась.

— Матрёна всегда ошибается. — Дуня прошла к лавке, села на самый край, прямая, как аршин, и раскрыла тетрадку — не сразу, сначала пролистнула назад, проверяя, потом вернулась. — Хлеба на два дня. Соли на четыре. Масла нет третий день, и не будет, потому что масло дорого. В сундуке четыре рубля двадцать копеек, из них двадцать надо отдать за свечи, иначе Матрёна больше не даст. Значит, четыре ровно. На четыре рубля мы проживём восемьдесят дней, если без масла. И пятьдесят, если с маслом.

Я молчал секунды три. Не потому, что не знал, что ответить, а потому, что двенадцатилетний ребёнок только что при мне сделал то, что у меня в отряде умели четверо из сорока: взял вводные, свёл их в число и выдал время до исчерпания ресурса.

— А что у нас есть кроме четырёх рублей?

— Сундук. В сундуке батюшкин кафтан, он хороший, суконный, почти не ношенный. — Она подумала, шевеля губами. — За него дадут рубль двадцать, если Овчине, и рубль сорок, если на Балчуге. Но на Балчуг далеко, и там обманут, а Овчина хоть и обманет, зато сразу и не заставит ходить дважды.

— Кто такой Овчина?

Дуня посмотрела на меня очень внимательно. Вот тут я едва не сгорел и сгорел бы, не будь я на три четверти мёртвым: она смотрела на меня секунды четыре, и за эти четыре секунды я успел придумать и отбросить три объяснения, одно другого глупее.

— Ты головой ударился, — сказала она наконец. Не спросила — сообщила.

— Сильно, — подтвердил я. — Много вылетело. Имена помню, а чьи они — нет.

— Тогда я буду говорить, как маленькому, и ты не обижайся. Фрол Данилыч Овчина, лабазник на Москворецкой. — Она перевернула страницу. — Даёт деньги в долг под процент, который все зовут грабежом и все берут, потому что больше в Зарядье не даёт никто. Батюшка у него брал.

— Много?

— Не знаю. Батюшка не говорил. — Она сказала это ровно, но карандаш в её руке дёрнулся. — Ты же всегда спрашиваешь, а он не говорил. И мне не говорил, и тебе не говорил, и от этого я думаю, что много.

Всегда спрашиваю. Значит, прежний Артемий что-то считал и о чём-то спрашивал; занятно, и я отложил это туда, где у меня лежат вещи, которые пригодятся позже.

— Ещё что-нибудь продавала?

— В апреле. Ложки носила, их было четыре, а заплатили за три. Потому что мне двенадцать. — Она снова заглянула в тетрадь, хотя явно помнила наизусть. — Я запомнила и записала, вот тут, с числом. Я к нему больше не пойду.

Слушайте, я пятнадцать лет вытаскивал людей из-под завалов и из горящих квартир, и меня, наверное, трудно чем-то пронять. Но вот это «я запомнила» у меня встало поперёк горла и там осталось.

— Скажи мне ещё одну вещь. Про мой Дар.

— Ничего. Ты можешь, чтоб вода в погребке не закисло. Батюшка ещё умел квас держать, чтоб не бродил дальше, а ты и этого не умеешь. — Дуня захлопнула тетрадку. — Это четвёртый разряд, он же шесток, их у нас в Зарядье как собак нерезаных.

— А бывают лучше?

— Третий — служилый, с ним в полк берут и в мастерство. Второй — родовой, с ним держат фамилию и герб дают. Первый — большой, таких на всю империю тридцать два человека, я считала. — Она загибала пальцы, и каждое слово было выучено, как таблица умножения. — А над нами Опалевы: у них Жар, второй разряд, и запись, и герб с жилой. Поэтому мы у них в людской, а не они у нас. И поэтому над нами смеются. Вставай, Аграфена Тимофеевна велела, чтоб ты, как встанешь, сразу вышел к ней.

Я встал. Повело меня прилично — трое суток на спине без еды даром не проходят даже в девятнадцать лет, — но устоял, придерживавшись за стену. Стена была тёплой и живой: за ней топились печь.

А двор Опалевых оказался большой и богатый, со службами в два ряда, и я пошёл по нему, сам того не желая, работать. Это, кстати, не выключается: пятнадцать лет тебя гоняют по адресам, и ты перестаёшь видеть дома — ты видишь конструкции, пути, расстояния и время. Конюшня: тёс, лет тридцать, сухая до звона. От конюшни до людской три шага, от людской до заплота два. За заплотом чужой двор, а на чужом дворе банька, и банька топится — дымок идёт сизый, ровный, по-чёрному. Поленица у конюшни, в три сажени, под самым свесом. Ушат с водой один, на весь двор. Колодец свой есть, но ворот заедает, и ведро идёт втрое дольше, чем должно, — я проверил, пока никто не смотрел.

Я стоял посреди чужого двора, босой, в чужой рубахе, в чужом теле, и с полной ясностью понимал одну вещь.

Тут всё сгорит. Не «может сгореть». Сгорит.

— Очнулся, милостивец.

Женщина лет под сорок, в тёмном, без единой складки на подоле, вышла на крыльцо и остановилась, — и стало как-то тесно, хотя двор был большой. Она не села. Она вообще никогда не садилась там, где сидели другие, и это я знал не от себя, а из чужой памяти, и знание было отчётливое, как ожог.

— Очнулся, Аграфена Тимофеевна, — ответил я и поклонился. Поклонился, кстати, само собой: тело помнило.

— Три дня лежал, и все три дня Матрёна тебе отвар носила. Отвар, милостивец, из моей кладовой. — Она разглядывала меня сверху вниз, не торопясь и не стесняясь. — Корень аптечный, привозной, я его на Никольской беру и не торгуюсь, потому что торговаться с аптекарем — себя не уважать.

— Благодарствую.

— Восемьдесят копеек, — сказала Аграфена Тимофеевна.

Я честно не сразу понял.

— Простите?

— Отвар. Я не попрекаю, милостивец, Боже упаси, у меня дом не постоянный двор, чтоб попрекать. — Она чуть приподняла бровь. Одну. — Я говорю, чтоб ты знал, во что тебе обошлось лежать. Восемьдесят копеек.

Восемьдесят копеек. А Дуня сказала — четыре двадцать всего. То есть эта женщина, не повышая голоса и глядя мне прямо в глаза, только что забрала у нас пятую часть всего имущества рода. За то, что меня отпаивали, пока я валялся без памяти. И ведь правда не попрекнула — просто сообщила цену, как в лавке, и в этом была своя ледяная честность. Меня здесь съедят. Тихо, по восемьдесят копеек, с поклоном и словом «милостивец».

— Запишу, — сказал я.

Вот теперь бровь поднялась по-настоящему.

— Что запишешь?

— Восемьдесят копеек, Аграфена Тимофеевна. И число. Я теперь всё записываю, я головой ударился и на память не надеюсь.

Она смотрела на меня секунды на две дольше, чем собиралась, и я видел, как в этой аккуратной голове что-то щёлкнуло и легло в нужный ящик.

— Сухо нынче, — сказала она наконец.

Одно слово, а информации — как в сводке за квартал. Сухо, тепло, ветер с реки, топят по чёрному, бабы сушат, мужики курят где придётся, а весь посад стоит из тёса, который сохнет вторую неделю. Я поднял голову, чтобы посмотреть, откуда ветер.

И вот тут за заплотом коротко, страшно, по-бабьи закричали.

Дальше я не думал — честное слово, ни секунды: пятнадцать лет и две тысячи выездов делают за тебя первые четыре движения, и спорить с ними бесполезно. Через заплот было видно плохо, но того, что видно, хватило. У Плотниковых на задах стояла банька. Банька уже не стояла: она горела вся, разом, от каменки до конька, огонь шёл вверх ровным рыжим языком, а ветер аккуратно клал этот язык набок. Прямо на конюшню Опалевых.

Сколько там до конюшни — сажень пять. Ветер ровный, метра три-четыре. Свес тесовый, сухой, под свесом поленница.

Восемь минут. Ну, десять, если очень повезёт с ветром.

А потом начался цирк. Люди побежали, их набежало сразу много, дворов с пяти, с ведрами, с ушатами, кто с чем, и они были не трусы, ни один: лезли к самому жару, наперегонки, толкаясь. И с размаху, от всей широкой души, лили воду в огонь. В горящую баню. Которой уже нет. Я двадцать раз объяснял под запись, и ещё сорок без записи, что горящий сарай — не цель, а источник; что тушат не то, что горит, а то, что загорится; что вода, вылитая в открытое пламя, уходит в пар и в ноль, а те же сорок ведер, положенные на соседнюю стену, отыгрывают тебе двадцать минут и целый двор.

Тут этого не знал никто. И неоткуда было узнать.

— Стоять! — заорал я. Голос у девятнадцатилетнего тела оказался звонкий и неубедительный, и я выкрутил его на всё, что было. — Баню бросили! Баня сгорела уже, её нет, вы воду в трубу льёте! Ты, ты и ты — заплот ломайте! Вот тут, три прыжка, до земли!

Обернулись человека четыре. Один, здоровый мужик с бородой, в одной рубахе, установился на меня так, будто на него залаяла табуретка.

— Дык это ж Плотникова заплот, барин. Он за него по весне восемь гривен отдал, он же с меня и спросит, а мне с ним потом жить.

— Заплот сухой и стоит мостиком: он до бани достаёт и до конюшни достаёт. По нему огонь и придёт, как по лестнице, и придёт через четыре минуты. — Я уже хрипел. — Ломай!

— А ежели не придёт?

— Тогда я тебе новый поставлю, своими руками, и ещё сверху доплачу. Ломай!

И он сломал. До сих пор не знаю почему — может, потому, что я говорил как человек, который знает. Есть такая интонация, она работает на любом языке и, как выяснилось, в любом веке: не проси и не объясняй, а назови действие.

Дальше стало проще. По одному действию на человека, объяснять будем завтра.

— Воду — на конюшню! Не на баню, на конюшню! На стену лейте, на тёс, сверху вниз!

— Барин, дык конюшня-то не горит, — сказал кто-то из цепочки, и сказал вполне рассудительно.

— Затем и не горит, что вы её сейчас польёте. А вот это раскидайте, вон туда, к колодцу, подальше. — Я показал на поленницу. — И не по одному полену, а охапками. Живо!

Мужик с бородой посмотрел на баню. Потом на конюшню. Потом на поленницу.

— Складно говоришь, — сказал он и пошёл раскидывать.

Через двор пронеслась Дуня с ведром, которое было ей по колено, и я даже не успел на неё рывкнуть.

— Считай! — крикнул я ей вслед. — Сколько вылили — считай!

— Уже считаю! — крикнула она, не оборачиваясь.

Вот за это я её, если что, и люблю.

Первые три минуты всё шло хорошо, а на четвёртой с бани рухнула кровля, и в небо ушёл сноп искр, который ветер разложил ровно по конюшнему свесу. Свес — это полоса в две ладони, где тёс самый сухой и где всегда всё и начинается; я видел это на трёх десятках адресов и знаю наизусть: проворонил свес — дальше уже не тушишь, а отступаешь и считаешь убыток. Цепочка с ведрами до стены доставала и работала честно, но до свеса вода не доходила: некому было её туда подать, а лезть наверх никто не догадался.

Ушат стоял в пяти шагах, ведер на шесть. Ну, подумал я. Вот и посмотрим, что такое четвёртый разряд.

Я протянул руку к ушату — глупо, как в кино, — и потянул. Ощущение было странное: будто у меня появилась третья рука, очень слабая, очень короткая и совершенно послушная. Я попробовал взять весь ушат целиком, и меня немедленно повело: в глазах потемнело, как от резкого вставания, а по губам прошло сухой наждачкой.

Ага. Понял. Не жадничай.

Я взял ровно два ведра. Вода вышла из ушата и не упала — она встала в воздухе плоским горбом, шириной в аршин, и висела так, пока я не сказал ей идти. Я провёл её вверх и вдоль свеса, не выплеснул, а именно провёл, как мокрой тряпкой по столу, и три рыжих пятка, уже занявшиеся на сухом тёсе, зашипели и умерли.

ВЕДОМОСТЬ. Приход.

Открыта ячейка первая. Навык: Хватка, ступень первая.

Взять под руку: два ведра. Держать: шесть часов.

Израсходовано телом: на четыре часа работы.

— Не сейчас, — сказал я вслух. Ведомость промолчала, но не ушла: ей, судя по всему, было решительно всё равно, чем я занят.

Дальше было ещё минут двадцать работы, и работы честной: вёдра, свес, стена, снова свес, и опять свес, потому что ветер не унимался. Дужка у ведра, которое мне подали от самой бани, оказалась раскалённой, и я схватил её голой ладонью — розовой, месячной, младенческой, — и это я тоже почувствовал часа через два, не раньше. Баню мы не спасли, её и нельзя было спасти: она догорела до земли за полчаса, как и положено сруб в полторы сажени.

А больше не сгорело ничего.

— Сорок четыре ведра, — сказала Дуня, когда всё кончилось. Она стояла рядом, чёрная по локоть, и держала тетрадку двумя пальцами, чтоб не запачкать. — И ушат. Ушат считаем за три, в нём было мало. Итого сорок семь.

— Запиши.

— Уже.

Хозяин сгоревшей баньки, Лукьян Плотников, оказался мужичком маленьким, кудрявым и совершенно оглушённым. Он стоял над своим пепелищем и смотрел, как из него идёт пар.

— Девять рублей, — сказал он в пространство. — Каменка новая была, я её в прошлом годе ставил, за неё одну шесть отдал.

— Заплот я вам сломал. Три прясла. Поставлю, дайте срок.

Он повернулся ко мне и вдруг засмеялся, хрипло и нехорошо.

— Заплот... Барин, ты чего. У меня изба цела, а изба тридцать рублей, и у Опалевых конюшня целая, а конюшне с припасом цена шестьдесят. — Он вытер лицо рукавом и посмотрел на меня уже совсем иначе. — Ты откуда знал, что по нему пойдёт?

— Знал, — сказал я.

И вот тут, конечно, я и спалился. Не на пожаре — на ответе. Потому что девятнадцатилетний недоросль с бытовой Влагой, который знает, куда пойдёт огонь и за сколько минут, — это уже не недоросль, а вопрос, и такие вопросы люди запоминают надолго.

Ладно. Разберёмся.

ВЕДОМОСТЬ. Итог.

Могло сгореть: конюшня с припасом — 62 рубля. Людская с пожитками — 24 рубля. Поленница — 4 рубля.

Отвращённый убыток: 90 рублей.

Зачтено в рост: 12 рублей — работа Дара.

Остаток к расчёту: 12 рублей.

Я сел на край колодезного сруба и прочитал это дважды. Девяносто рублей. Не «молодец», не «ты герой», не «спасибо, барин», а убыток, которого не случилось, в рублях, с разбивкой по позициям, как смета. И двенадцать из девяноста — тринадцать процентов. То есть из всего, что мы тут вчетвером, сорока семью вёдрами и одним сломанным заплотом отстояли, мне засчитали ровно ту часть, которую я сделал руками, которых у меня нет. Два ведра над свесом. Остальные восемьдесят восемь процентов — люди, вёдра, поленница и здравый смысл — не стоили в этой бухгалтерии ни копейки.

Хорошо. Учтём.

Открытие второй ячейки: 100 рублей зачтённого.

— Само собой, — сказал я. — Куда ж без этого.

— Опалев пришёл, — сказал кто-то за спиной.

Через двор шёл молодой человек лет двадцати двух, в расстёгнутом кафтане, и на ходу тёр ладони одну о другую, будто ему было холодно. В мае. При двадцати градусах. Он остановился

шагах в пяти от пепелища, посмотрел на пар, на мокрую конюшенную стену, на раскиданную поленницу.

— Опалев бы управился быстрее, — сказал он, ни к кому не обращаясь, повернулся и ушёл в дом.

— Никита Спиридонович. Жар, второй разряд, — очень тихо сказала Дуня. — Он бы просто выжег всё вокруг, и правда было бы быстрее, только у Плотниковых ещё и изба бы сгорела. Но зато быстрее.

— Я понял, — сказал я.

Вечером она отмывала мои ладони в плошке с водой, и я шипел, как та самая баня. Старый ожог на тыльной стороне левой кисти её не интересовал — он был знакомый, он был с того пожара. А вот свежие волдыри от раскалённой дужки она разглядывала долго и молча.

— Девять рублей баня. Я спросила у Матрёны, Матрёна сказала шесть, но у них каменка новая была, значит, девять. — Она перевернула тряпицу холодной стороной. — Она всегда занижает, чтоб не завидовали. Артемий. Ты раньше так не умел.

Я не успел ничего придумать, потому что во двор вошли, и вошли не по-соседски: сначала слуга с фонарём, хотя было ещё светло, а за ним плотный человек в хорошем суконном кафтане, с папкой под мышкой. А следом, из дома, вышла Аграфена Тимофеевна и встала на крыльце с другим фонарём.

И не ушла.

— Артемий Григорьевич? Овчина. Фрол Данилыч. — Плотный человек оглядел мои замотанные ладони, мокрую конюшню, пар над пепелищем. — Люди говорят, вы тут распоряжались, и распоряжались толково. Я, признаться, шёл и думал: а ну как он после трёх-то дней не в разуме, и говорить будет не с кем.

— Теперь есть с кем. Фрол Данилыч, говорите прямо.

— А я прямо и говорю.

Он полез в папку, и у меня внутри всё сделалось очень спокойным и очень холодным. Так бывает, когда подъезжаешь к адресу и ещё из машины видишь, что там не задымление, а полноценный этаж. Лист был плотный, желтоватый, сложенный вчетверо, с потёртостями на сгибах — его разворачивали много раз. Овчина развернул его, повернул ко мне и разгладил ладонью, медленно, чтобы я успел рассмотреть. Почерк был отцовский; я его не знал, а тело знало, и меня от этого почерка слегка повело.

— Вексель. Батюшка ваш брал у меня в позапрошлом году, под двор и под землю. Триста рублей серебром.

Триста.

Я посчитал быстро, потому что считать было единственное, что я в тот момент умел. Подёнщик здесь получает четыре копейки в день, рубль в месяц, двенадцать в год. Триста рублей — это двадцать пять лет работы взрослого мужика. Это семьдесят пять коров. Это два таких двора, как наш сгоревший. А у нас четыре рубля двадцать копеек. Минус восемьдесят копеек Аграфене Тимофеевне.

— Срок?

— Покров. Первое октября.

— И вы всё лето будете ждать?

— Буду. Потому что мне ваш двор не нужен, Артемий Григорьевич, вот вам крест. — Он поморщился, будто ему и правда было неприятно это объяснять. — Двор горелый, за него дадут полцены, да и то не сразу, да и то с торгов, а с торгов пока дождёшься... Мне деньги нужны, а не горелое место. Оттого и пришёл загодя, а не первого октября: чтоб вы думали, а не в ноги падали. Я ведь не зверь.

Двенадцатое мая. До первого октября — сто сорок два дня.

ВЕДОМОСТЬ. К сведению.

До срока: 142 дня.

Потребно: 300 рублей.

Остаток к расчёту: 12 рублей.

Спасибо. Очень, очень вовремя.

— Я не могу заплатить триста рублей, — сказал я.

— Знаю. И потому мы с вами будем думать не про то, можете вы или нет, а про то, что написано ниже. — Он подвинул лист и ткнул пальцем в самый низ. — Читайте.

Там, под основным текстом, мелко и другими чернилами, была приписка. Строчки в три. Я прочёл её, потом прочёл ещё раз, потому что с первого раза не сложилось.

«...а буде долг к сроку не выплачен, имение с торгу, а дочь моя Авдотья Григорьевна поступает в людство рода Опалевых, в чём и подписуюсь».

Подпись отцовская.

Я очень медленно поднял глаза. Долг — перед Овчиной. А сестра — Опалевым. Так не бывает: это как если бы в расписке за машину было написано, что при неуплате твой ребёнок переходит соседям по подъезду. Две разные стороны, два разных интереса, и они почему-то сведены в одну строчку, написанную не тем почерком и не теми чернилами, что весь остальной вексель.

— Фрол Данилыч, — сказал я. — А отчего это Опалевым?

Овчина не ответил.

Он смотрел в сторону — ровно туда, где, сложив руки, прямая, в чёрном платке, стояла с фонарём Аграфена Тимофеевна Опалева и совершенно спокойно смотрела на меня.

Фонарь ей был не нужен. Было ещё светло.

А рядом со мной, на краю колодезного сруба, сидела Дуня со своей тетрадкой и, шевеля губами, пересчитывала чужую сгоревшую баню.

Глава 2. Четыре рубля двадцать копеек

Утром я проснулся и первые полминуты был совершенно счастлив, потому что не помнил.

Потом вспомнил. Потолок бревенчатый, таракан на пакле, чужие руки с чужой мозолью и вексель на триста рублей, который вчера развернули передо мной и разгладили ладонью, чтоб я успел рассмотреть. Ладони, кстати, болели так, что я не сразу смог сжать кулак: свежие волдыри от раскалённой дужки за ночь налились и стали как две подушки. Работать ими сегодня не выйдет, а значит, сегодня я буду ходить и смотреть.

Оно и к лучшему. Смотреть я умею лучше, чем работать.

Дуня сидела на лавке у окна с тетрадкой на коленях и грызла карандаш. Карандаш был короткий, обкусанный со всех сторон, и, судя по виду, служил ей вместо табака, вместо молитвы и вместо разговора с живым человеком.

— Не спишь, — сказала она, не поднимая головы. — Хорошо. Я считаю.

— Что на этот раз?

— Расход. — Она перевернула страницу, и я увидел, что страница расчерчена: три столбца, ровные, проведённые по линейке, и в линейках у неё явно была своя линейка. — Вчера было четыре рубля двадцать. Аграфене Тимофеевне восемьдесят копеек за отвар, я утром отнесла, она пересчитала при мне и сказала «благодарствую, милостивица». Осталось три рубля сорок.

— Отнесла уже?

— А чего тянуть. — Дуня наконец подняла на меня глаза. — Тянуть — значит, она будет говорить про это каждый день. Это дешевле отдать сразу и один раз, чем слушать про это тридцать раз.

Я сел на лавке и некоторое время смотрел на неё.

Слушайте, у меня в отряде был начальник тыла, дядька пятидесяти лет, который вот такими же словами объяснял мне, почему подписанную бумагу надо нести в бухгалтерию в тот же день, а не в пятницу. Он был прав, и она права, и разница между ними только в том, что ему платили сто двадцать тысяч, а ей двенадцать лет.

— Записывай дальше, — сказал я. — Хлеб и соль.

— Четырнадцать копеек. Хлеба на три дня, соли на десять, у Кривого соль серая, зато на копейку дешевле. Итого три рубля двадцать шесть.

— И на этом всё?

— И на этом всё, — согласилась Дуня. — Триста рублей до Покрова и три рубля двадцать шесть копеек в сундуке. Я вчера посчитала, сколько надо зарабатывать в день, чтоб успеть. Два рубля двенадцать копеек. Каждый день. Сто сорок один раз подряд.

— Сколько подёнщик зарабатывает?

— Четыре копейки, — сказала она. — Я знаю, что ты знаешь. Я это к тому говорю, что ты вчера сказал «разберёмся», и я хочу понимать, чем ты собираешься разбираться.

Хороший вопрос. Правильный вопрос. И главное — вовремя заданный, потому что в голове у меня со вчерашнего вечера крутилось ровно три мысли, и все три никуда не годились. Мысль первая: продать что-нибудь. Продавать нечего, кроме отцовского кафтана за рубль сорок, и это, извините, полпроцента долга. Мысль вторая: занять — у кого? У Овчины, который и есть кредитор? У Аграфены Тимофеевны, которая берёт восемьдесят копеек за отвар? Мысль третья, и самая дурацкая: заработать Даром. Не давать воде киснуть в погребах по всему Зарядью, по копейке с погреба. Три тысячи погребов, и все они у людей, у которых нет копейки.

— Пока не знаю, — честно сказал я. — Но знаю, с чего начать.

— С чего?

— С того, чтоб понять, за что тут вообще платят.

Дуня подумала, кивнула и записала это в тетрадку. Не знаю уж какими словами.

— Дунь. А над Даром моим сильно смеются?

Она отложила карандаш. Это, как я потом узнал, означало у неё высшую степень серьёзности: когда карандаш в руке, она говорит между делом, а когда откладывает — значит, тема важная.

— Сильно, — сказала она. — Не при тебе. При тебе не смеются, потому что ты дворянин и потому что батюшку жалели. А так — да. Водолей, мокрый барин, шесток. У Гундосовых мальчишка меня спросил прошлым летом, правда ли, что ты можешь квас в бочке остудить, и можно ли за это копейку взять.

— А ты что?

— А я сказала, что за копейку он у меня в лоб получит, и он получил. — Дуня пожала плечами. — Потом батюшка мне объяснил, что драться нельзя, потому что мы бедные и нас никто не защитит. Я перестала драться и стала записывать.

— Что записывать?

— Кто что сказал, — спокойно ответила она. — Я думаю, когда-нибудь пригодится.

Я посмотрел на эту тетрадку уже совсем другими глазами.

— И много там?

— Четыре страницы, — сказала Дуня. — С позапрошлого года. Я и цены туда же пишу, чтоб отдельную не заводить, бумага дорогая.

А я тем временем занялся вещью, которая со стороны выглядела бы полным сумасшествием, и хорошо, что смотреть было некому.

Я допрашивал Ведомость.

Началось с того, что я спросил про бочку. Мне со вчерашнего дня не давало покоя, что воды в этом дворе один ушат, и я хотел понимать порядок цен.

ВЕДОМОСТЬ. Справка.

Бочка водовозная, на ходу, сорок вёдер: 9 рублей.

Так. Отвечает. Уже кое-что.

— А лошадь?

Лошадь рабочая: 8 рублей. Добрая упряжная: 25 рублей.

— Корова?

4 рубля.

Прекрасно. У меня в голове поселился прејскурант, и он работает быстрее, чем я успеваю удивляться. Ладно, проверим границы.

— Кто поджжёт Ртищевский двор?

Сведений не имею.

— Почему приписка в векселе сделана другими чернилами?

Сведений не имею.

— Аграфена Тимофеевна мне враг?

Сведений не имею.

Три раза подряд, одной и той же строчкой, ровно и без выражения — и я, дурак, почувствовал что-то вроде обиды. Как будто со мной не хотят разговаривать.

Потом дошло. Она отвечает только на то, у чего есть число: сколько, почём, сколько осталось, на сколько. А «кто» и «почему» — не её епархия вообще. Это не собеседник, не голос свыше, не ангел-хранитель и не подсказчик. Это счётная контора, и контора отвечает

строго по своей номенклатуре, а на всё остальное у неё одна отписка, которую я потом буду слышать тысячу раз.

— Сколько осталось до срока? — спросил я для проверки.

До срока: 141 день.

Спасибо, дорогая. Ты умеешь утешить.

Из дому я вышел в чужих сапогах, которые жали, и пошёл смотреть Зарядье.

Я знал, куда иду, и не знал, зачем. Точнее, знал, но сформулировать смог только к вечеру, а с утра это выглядело как блажь: человек, которому надо триста рублей, идёт искать не деньги, а воду.

Логика была простая, и она у меня была единственная. Я умею ровно одно. Ни торговать, ни писать прошений, ни ходить по присутствиям я не умею, а тушить умею лучше всех в этом городе, и это не гордыня, это арифметика: тут просто больше некому. Вчера при мне сорок взрослых людей лили воду в сгоревшую баню. Значит, моё умение здесь чего-то стоит. А чтобы оно стоило, нужна вода.

И вот я шёл по Зарядью и считал воду.

Считалось плохо. Улицы в полторы сажени, местами в сажень, и по ним не то что телега с бочкой — по ним двое встречных расходятся боком. Дворы стоят вплотную, заплот к заплоту, свес к свесу, и между кровлями местами меньше аршина. Топят по-чёрному. Сушат на верёвках через улицу. Курят на завалинках, вытряхивая трубки прямо в сухую щепу.

Я прошёл от Варварки до Москворецкой и насчитал шесть мест, где при северном ветре сгорело бы подряд по десять дворов, и ещё четыре, где сгорело бы по двадцать.

А воды не было нигде.

То есть она была: река в трёхстах саженях, если по прямой. Только по прямой не выйдет — спуск идёт через Мокринский переулок, а Мокринский в самом узком месте полторы сажени, и там стоят возы, и возы стоят всегда. Колодцы есть, приходские и дворовые, и они летние, мелкие: два ведра, третье с песком. Прудов нет. Бочек на весь квартал — я насчитал четыре, и три из них были рассохшиеся, стояли без дела и текли бы, если б в них что-нибудь налили.

К полудню я сформулировал.

Здесь не потому плохо тушат, что люди глупы. Здесь плохо тушат потому, что нечем. Организации нет, техники нет, воды нет, и главное — нет человека, чья это работа. Пожар в Зарядье — не происшествие, а погода: пришла, постояла, ушла, кого унесло, того унесло. Как град.

И вот в этом месте у меня впервые за два дня стало хорошо на душе, потому что я увидел не катастрофу, а незанятую нишу.

Правда, прежде чем занимать нишу, стоило выяснить, чем именно я её собираюсь заниматься. И я свернул к глухому заплоту за съестными рядами, где стояла кадка с дождевой водой, и полчаса занимался тем, что в прошлой жизни называлось бы проверкой матчасти.

Выяснилось следующее. Два ведра — потолок, и потолок жёсткий: ни уговорами, ни злостью, ни разбегом сверх двух вёдер не берётся, на третьем темнеет в глазах, и темнеет мгновенно, как будто выключили. Держать эти два ведра я могу долго — сколько именно, Ведомость обещала шесть часов, и проверять я не стал, потому что у меня были другие планы на день. Форму вода держит любую: горб, полоса, столб, лепёшка в аршин шириной и в палец толщиной. Двигать её можно саженой на две от себя, дальше она становится тяжёлой, как чужой шкаф.

И вот последнее оказалось самым интересным. Я растянул эти два ведра в плоскую пелену и провёл по заплоту — и заплот на аршин в ширину стал мокрым насквозь, до тёмного. Двумя вёдрами. Если бы я те же два ведра просто выплеснул, они ушли бы в землю и намочили пятно в ладонь. То есть дело не в количестве, а в том, что я умею положить воду туда, куда

надо, и ровно столько, сколько надо. Как форсунка. Плохонькая, ручная, на два ведра — но форсунка.

— Барин колдует, — сказали за спиной с восторгом.

Их было трое, лабазных мальчишек лет по двенадцати, и они, судя по лицам, стояли тут давно и бесплатно смотрели лучшее представление недели.

— Колдую, — согласился я.

— А чего колдуешь-то? Забор мочишь? — Старший из них засмеялся, и засмеялся не зло, а от чистого сердца, и это было хуже злого. — Дядь, ты водолей, что ли?

— Водолей.

— А чего умеешь?

Хороший вопрос. Я честно подумал.

— Могу, чтоб вода в погребке не закисло, — сказал я. — Могу портянки высушить. Могу вот забор намочить.

Они ржали, наверное, с полминуты. Потом младший, отсмеявшись, сказал с искренним сочувствием:

— У Опалевых Жар. Они, знаешь, барин, свечку с десяти шагов зажигают, я сам видал. А тебе не повезло.

— Не повезло, — согласился я.

Они убежали. А я остался стоять у мокрого заплота и, к собственному удивлению, не злился совершенно.

Потому что мальчишка был прав дважды. Мне действительно не повезло — если мерить тем, чем меряют здесь. И мне действительно повезло — если знать то, чего здесь не знает никто: что вода, положенная в нужное место в нужную секунду, стоит дороже любой свечки, зажжённой с десяти шагов, и что через месяц-другой эти же трое будут таскать за мной вёдра.

Правда, для этого нужно было, чтоб у меня были вёдра. И бочка. И люди.

Водовозный двор стоял на Москворецкой, у самого спуска: длинный навес, шесть бочек под ним, коновязь, сарай и запах, который я узнал бы с закрытыми глазами, — мокрое дерево, конский пот и тина.

Гнать меня начали с двадцати шагов.

— Куда?! — Мужик в фартуке, лет за пятьдесят, с руками как корневища, вышел из-под навеса и пошёл наперерез. — Барин, шёл бы ты. Тут не про тебя.

— Мне бы поговорить.

— Поговорить, — повторил он с непередаваемым выражением. — Тут все поговорить. Один вчера поговорил, а после у меня пенька пропала. Иди отсюда.

Хорошее начало. Я бы на его месте сделал то же самое.

Я и не стал спорить: отошёл на десять шагов, сел на перевёрнутую кадку у забора и стал смотреть, как они работают, — и это, честное слово, было интереснее любого разговора. Работали они плохо. Не лениво — плохо. Двое таскали вёдрами из колодца в бочку, хотя рядом стоял ворот, которым можно было поднимать сразу два. Бочку заливали через верх, разливая, и под бочкой уже стояла лужа. А главное — вот это я заметил сразу и не мог оторваться — у ближней бочки при каждом наклоне из нижнего крана шло. Не капало. Шло.

Я просидел там, наверное, с четверть часа, и за эту четверть часа из бочки ушло ведра три.

— Ты долго сидеть будешь? — спросил мужик, не выдержав.

— Пока не пойму.

— Чего не поймёшь?

— Почему у вас клапан не держит, — сказал я. — Он у вас кожаный, да? Кожа старая, сухая, села, и по краю уже не прилегает. Вы её водой мочите, она разбухает и день держит, а на завтра высыхает и опять течёт. Так?

Мужик молчал секунд пять.

— Так, — сказал он. — А тебе, барин, какое дело?

— Мне никакого. Просто у вас из-за него по три ведра с оборота уходит, а оборотов в день... сколько вы делаете?

— Шесть, ежели с реки. Восемь, ежели от колодца.

— Значит, двадцать четыре ведра в день. — Я посчитал вслух, потому что иначе не умею. — Ведро вы продаёте по копейке. Двадцать четыре копейки в день. Рублей семь в месяц. С одной бочки.

Тишина стала другой.

Я такие тишины знаю. Это когда человек, который тебя сейчас выгонял, вдруг понимает, что ты не попрошайка и не жулик, а просто зачем-то посчитал то, чего он сам не считал никогда, потому что считать было некогда.

— Ты кто такой? — спросил он уже иначе.

— Ртищев. Артемий Григорьевич. Горелый.

— А-а. — Он кивнул, и по этому кивку я понял, что про Ртищевский двор тут знают все. — Слышал. Свиблов я, Трофим Кондратьич. Ну и чего ты предлагаешь, Артемий Григорьевич?

— Дайте посмотреть клапан.

— Руками?

Я показал ему ладони. Он посмотрел на волдыри, потом мне в лицо, потом опять на волдыри.

— Это где ж тебя так?

— Вчера. На Плотниковой бане.

— А-а, — сказал он ещё раз, и на этот раз в этом «а-а» было уже что-то совсем другое. — Это, стало быть, ты вчера у Опалевых распоряжался. Мне говорили, я не поверил.

Клапан я разбирал час.

Работать было больно и неудобно — ладони я обмотал тряпками и половину делал костяшками и кончиками пальцев, — но это была первая за два дня вещь, от которой мне стало по-человечески хорошо. Знакомое дело. Железо, кожа, вода, и задача, у которой есть правильное решение.

Штука была простая и сделана бестолково. Кожанный кружок прижимался к медному седлу, седло было выработано неровно, кожа задубела и по краю пошла трещинами, а сверху её прижимала пружина такой слабости, что ею впору было подтяжки держать.

— Кожа новая нужна, — сказал я. — Толстая, юфть. И воск. И пенька на подмотку. И седло надо шабрить, у вас тут выбоина в полвершка.

— Шабрить — это чего?

— Это ровнять. — Я поискал слово. — Пришабривать по месту. Дайте любую железку с ровным краем и мелкий песок, я покажу.

Свиблов посмотрел на меня долгим взглядом.

— Кожа денег стоит, — сказал он.

— Сколько?

— Полтину. С воском и пенькой — восемьдесят копеек.

Восемьдесят копеек. Второй раз за три дня. Какое-то, извините, проклятое число в этом веке.

У меня в кармане лежало три рубля двадцать шесть копеек, и это были все деньги рода Ртищевых. Отдать из них восемьдесят чужому человеку за чужую бочку — это, если считать по-честному, поступок идиота.

Я посчитал ещё раз.

Семь рублей в месяц с одной бочки. Шесть бочек. Сорок два рубля в месяц утекает у них в землю, и они об этом не знают, потому что никто не садился и не считал.

— Беру, — сказал я и достал деньги.

— Ты погоди, — сказал Свиблов. — Ты мне бочку чинить будешь на свои?

— На свои. И покажу вам, как чинить остальные пять. А потом мы с вами поговорим про то, что мне от вас нужно.

— А что тебе нужно?

— Вода, — сказал я. — На пожар.

Он засмеялся. Не зло — устало, как смеются на глупость, которую слышали двести раз.

— На пожар воду не возят, барин. На пожар воду носят. Вёдрами. Кто добежит, тот и носит.

— Знаю, — сказал я. — Потому и пришёл.

Вот тут я её и увидел.

Она стояла у крайней бочки, шагах в восьми, и, судя по всему, стояла там уже давно. Лет двадцати, в подоткнутом переднике, рукава закатаны выше локтя, руки в цыпках — рабочие руки, не девичьи. Волосы убраны под платок туго, чтоб не мешали.

В руках у неё была деревянная кружка. Она зачерпнула из бочки, поднесла ко рту, отпила глоток, подержала во рту и поморщилась.

— С Балчуга брали, — сказала она. — Я ж говорила не брать.

— А где брать, Устинья? — с раздражением отозвался Свиблов. — На реке очередь в сорок возов.

— На Псковском брать. — Она выплеснула остаток на землю. — Была бы там вода.

И ушла под навес, не посмотрев в мою сторону ни разу.

— Дочь, — сказал Свиблов без выражения. — Устинья. Ты, барин, на неё не гляди, она колодезного дела больше моего понимает и оттого сердитая.

Клапан я доделал к вечеру. Собрали, залили, погоняли; Свиблов сам наклонял бочку и сам щупал под краном ладонью, и щупал долго, будто не верил. Потом выпрямился и вытер руку о фартук.

— Сухо, — сказал он.

— Сухо, — согласился я.

— Покажешь на остальных?

— Завтра покажу. И послезавтра. Мне спешить некуда: у меня до Покрова сто сорок один день и триста рублей.

И вот тут я сделал то, чего делать вообще-то не собирался, — спросил у Ведомости при свидетелях. Не вслух, конечно. Просто спросил.

Мне было интересно.

Я только что сберёг человеку семь рублей в месяц. Восемьдесят четыре в год. С шести бочек — пятьсот. Это, между прочим, полтора моих долга, и сделано это моими руками и моей головой за один день.

ВЕДОМОСТЬ. Приход.

Отвращённый убыток: 0 рублей.

Зачтено в рост: 0 рублей.

Остаток к расчёту: 12 рублей.

Я стоял посреди чужого двора, смотрел на эти три строчки и медленно закипал.

Ноль.

Я починил вещь. Я сберёг деньги. Я сделал ровно то, за что в прошлой жизни людям платят жалованье, — а эта контора написала мне ноль, и написала без малейшего смущения.

Значит, вот как. Значит, она платит не за пользу. Она платит за отвращённый убыток, а убыток — это то, что горит, тонет и погибает. Течь из клапана убытком не считается. Сберёг — молодец, иди дальше, в рост не идёт.

Хорошо, подумал я. Я тебя понял.

Ты платишь за беду, которой не случилось. Значит, мне нужна беда.

Эта мысль была такой мерзкой, что я её тут же и отложил, и следующие три месяца делал вид, что её не было.

Домой я пошёл в сумерках, вдоль заплотов, и по дороге считал дворы, у которых поленицы стояли под свесами. Насчитал одиннадцать и бросил.

У ворот меня догнали.

— Артемий Григорьевич.

Устинья Свиблова стояла в двух шагах, уже без передника, в платке, надвинутом на лоб, и в руках у неё была та же деревянная кружка. Зачем она таскала её с собой, я тогда не понял.

— Вы отцу бочку починили, — сказала она. — Задаром.

— Не задаром. За восемьдесят копеек своих.

— Это и значит задаром, только наоборот. — Она помолчала. — Вы правда хотите воду на пожары возить?

— Хочу.

— Тогда вам надо знать, где она есть. — Устинья говорила ровно, без интереса, как говорят с человеком, которого через неделю не будет. — В Зарядье воды четыре места. Река — до неё сорок минут оборот, если через Мокринский, а через Мокринский возы. Приходский колодец у Николы — там два ведра, третье с песком, летом садится. Колодец у Опалевых — он ваш, считай, но ворот заедает и в нём мелко. И колодец на Псковском.

— На Псковском хороший?

— На Псковском лучший в квартале, — сказала она. — Там жила глубокая, там и в августе вода. Сорок вёдер зараз, и чистая.

— Так это же всё меняет. — Я уже считал: сорок вёдер, две бочки, оборот. — Почему ж им не берут?

— Потому что его четыре года не чистили.

Я остановился.

— Четыре года?

— Четыре. — Она смотрела на меня и, кажется, чего-то ждала. — Деньги на чистку приход выдаёт каждый год. Три рубля. Я знаю, потому что мой отец два раза брался и два раза ему сказали не надо.

— Как это — не надо?

— А вот так. — Устинья наконец сунула кружку в карман передника, которого на ней не было, спохватилась и сунула за пояс. — Деньги выдают, а чистить не велено. Кто велел — не знаю, и отец не знает, и в приходе говорят «не твоего ума». Он стоит заваленный четвёртый год, и вода в нём есть, и достать её нельзя.

Она пошла было, потом обернулась.

— Вы вчера у Опалевых кричали, чтоб заплот ломали. Мне рассказывали трое, и все трое ввали по-разному, но заплот у вас во всех трёх один и тот же. — Устинья чуть склонила голову набок. — Вы завтра придёте?

— Приду.

— Приходите к шести. Отец в семь уезжает, а до семи он добрый.

И ушла.

А я стоял у чужих ворот, в чужих сапогах, с замотанными ладонями, и в голове у меня билось одно.

Лучший колодец в квартале. Сорок вёдер зараз. Четыре года завален. Деньги выдают каждый год.

И чистить его почему-то не велено.

Глава 3. Казённая цена

Два дня я чинил клапаны.

Звучит скучно, и это было скучно, и это были два лучших дня из тех трёх с половиной, что я прожил в восемнадцатом веке. Пять бочек, пять кожаных кружков, пять выработанных медных сёдел, песок, тряпка, воск, юфть, и тупая счастливая работа руками, которую не надо ни с кем обсуждать. Ладони под тряпками саднили, к вечеру тряпки прилипали, Устинья молча меняла их на чистые и так же молча уходила. Трофим Кондратьич первые полдня стоял над душой, к обеду перестал, а под вечер второго дня принёс мне кружку кваса и сел рядом на кадку.

— Ты, барин, не серчай, — сказал он. — Я тебя первого дня гнал, потому как ходят.

— Ходят?

— Ходят. — Он покрутил в пальцах щепку. — Приказчики ходят, от Овчины ходят, от старшины нашего ходят. Всем чего-то от воды надо, и всем задаром. А ты пришёл и восемьдесят копеек свои положил, и я, признаться, всю ночь думал, в чём подвох.

— И придумали?

— Придумал, — кивнул он серьёзно. — Ты, барин, хочешь, чтоб я тебе бочку на пожар давал. Бесплатно.

— Хочу, — сказал я.

— А я не дам. — Трофим Кондратьич сказал это без всякой злобы, как говорят про погоду. — Не потому, что жадный. Бочка на пожаре — верная бочка в лом. Лошадь пугается, народ прёт, кто-нибудь непременно топором по обручу заедет. А она девять рублей, и она у меня одна из шести на ходу. Была не на ходу, теперь на ходу — твоими руками, спасибо.

Вот тут он был абсолютно прав, и спорить было не с чем. В прошлой жизни у меня в отряде была та же самая история, только называлась она «списание техники по факту работы на ЧС», и там за неё воевали люди с погонами.

— А если я вам эту бочку оплачу, если побьётся? — спросил я.

— Чем? — Трофим Кондратьич посмотрел на меня почти сочувственно. — У тебя, барин, три рубля было, и ты из них восемьдесят копеек на мою кожу отдал. Ты хороший человек, я вижу. Только хороший человек без денег — это не компаньон, это гость.

И это тоже было правдой, и в тот вечер я лёг спать злой как собака.

А ночью ударил набат.

Проснулся я мгновенно и мгновенно же понял три вещи, и все три — по звуку. Что бьют в било, а не в колокол, то есть это не церковь и не пожарная команда, а кто-то из своих. Что бьют с юго-востока, от Балчуга, саженой за триста. И что бьют давно: голос у того, кто бил, уже сорвался, а частота стала неровной — так стучат, когда устали и когда страшно.

Триста саженой и давно. Значит, я уже опоздал.

— Куда? — Дуня села на лавке, мгновенно, как будто и не спала.

— Балчуг.

— Ты ладонями не можешь.

— Я головой могу.

Бежать было недалеко, но бежать пришлось не по прямой: Мокринский был загорожен возами, и я потерял на обходе минуты три. Зато на бегу я успел увидеть отсвет и по отсвету прикинуть: горит низко, широко и не сильно вверх. То есть горит не крыша, а нутро — и это самое поганое, что бывает.

Ночлежный двор на Балчуге я до того видел дважды, оба раза днём, и оба раза у меня дёргался глаз.

Представьте себе сарай в двадцать саженей длиной, разгороженный внутри на клетушки досками в полвершка. В клетушках нары в три яруса. В сарае ночует, по разным оценкам, от восьмидесяти до ста сорока человек — грузчики с пристани, богомольцы, бабы с детьми, кто угодно, кто может отдать копейку за ночь. Окон нет. Выход один, и выход этот — ворота с калиткой, в которую человек проходит боком.

Один выход на сто человек. Я такое видел в прошлой жизни ровно один раз, в две тысячи шестнадцатом, на складе, и до сих пор не люблю про это вспоминать.

Когда я добежал, горела дальняя треть, и горела ровно так, как и должна была: изнутри, по доскам и по тряпью, с густым едким дымом, который в закрытом объёме убивает раньше огня. Во дворе было человек полсотни. Они кричали. Некоторые лили воду — в ворота, в проём, в дым. Пятеро мужиков держали кого-то, кто рвался внутрь.

И никто не стоял на калитке.

Вот это — то, на что я смотрел первые три секунды и от чего у меня внутри сделалось холодно и ясно. Люди выходили из дыма поодиночке, шатаясь, и их никто не считал, никто не отводил в сторону и никто не спрашивал, сколько там осталось. Они выходили и садились тут же, в двух шагах от калитки, в самом проходе, и следующим приходилось через них перелезть.

— Слушай меня! — заорал я, и голос в этот раз меня не подвёл. — Ты, ты и ты — вот сюда! Кто выходит, того берёте под руки и уводите вон туда, к забору! Не сюда, а туда! Считайте вслух! Громко!

— Барин, там люди!

— Знаю, что там люди! Потому и говорю: уберите проход! Он у вас один!

Не знаю, почему они послушались. Может, потому же, почему послушался тот мужик с заплотом: когда всем страшно и никто не знает, что делать, человек, который говорит короткими глаголами, автоматически становится главным. Трое встали на отвод. Кто-то начал считать вслух — «одиннадцать, двенадцать» — и через минуту считали уже двое, и вразнобой, но считали.

А я пошёл внутрь.

Объясню, почему это было не геройство, а расчёт, потому что иначе получается некрасиво. Я лез не потому, что смелый, а потому, что из всех, кто был во дворе, только я знал три вещи: что внизу у пола есть слой воздуха, которым можно дышать; что идти надо по стене и считать шаги, чтоб выйти обратно; и что у меня есть два ведра воды, которые можно положить себе на голову и плечи и которые дадут мне минуты четыре.

Четыре минуты — это немного. Но это ровно на четыре минуты больше, чем у всех остальных.

Первую я вытащил в семи шагах от калитки — бабу лет сорока, она сидела на полу у стены и не двигалась, и я сначала решил, что поздно. Оказалось, нет: просто села и не смогла встать. Вытащил за шиворот, волоком, как учили.

Второй был тяжёлый — мужик пудов на шесть, мастеровой, судя по рукам и по фартуку, в котором он и спал. Этот лежал ничком в четырнадцати шагах, и с этим я провозился долго, потому что шесть пудов волоком в дыму на четвёртой минуте — это на пределе даже для здорового тела, а моё было девятнадцатилетнее, тощее и трое суток не евшее толком.

Я вывалился с ним на воздух, отдал его в руки, сел на землю и понял, что у меня трясутся ноги.

— Ещё есть? — спросил кто-то.

— Есть, — сказал я и полез третий раз.

Третьим был мальчишка. Лет пяти или шести, точнее не скажу, потому что в дыму и потом уже не до того. Он был в двух шагах от той бабы и, судя по всему, полз за ней и не дополз. Он ещё дышал.

Его я вынес легко. Он весил как ничего.

А в четвёртый раз я не пошёл.

И вот про это надо сказать прямо, потому что я потом полгода к этому возвращался. Я не пошёл не потому, что струсил. Я не пошёл потому, что посчитал — и счёт вышел плохой. Кровля над дальней третью уже дышала, дым шёл не серый, а бурый, и на четвёртом заходе мои два ведра кончились бы на второй минуте. Я бы дошёл шагов на десять и остался бы там.

Я знал это так же твёрдо, как знал, что дважды два четыре. Я сел у калитки, и я не пошёл, и через полторы минуты кровля сложилась.

Там был человек. Мужчина, лет тридцати, его звали Никифор, он был бондарь и ночевал во второй клетушке от конца. Я узнал это через два дня, потому что за ним пришла жена из Коломенского, и её приводили опознавать, и опознавать было нечего.

Он там кричал. Недолго.

Дальше был час работы, и работа была уже простая. Огонь надо было удержать, чтоб не пошёл на соседний двор, а там были лабазы, и в лабазах пенька.

Вот тут я и открыл вторую ячейку, и открыл её от злости.

Мне надо было положить воду на угол лабаза, и угол был в четырёх саженьях, а дальше двух я не доставал. Я стоял с двумя вёдрами под рукой, как дурак с граблями, и физически не мог дотянуться, и злость у меня была такая, какой я в прошлой жизни не помню.

И я толкнул.

Не понёс — толкнул. Собрал эти два ведра в палец толщиной и ударил ими, как из шланга, и вода пошла плотной струёй на четыре сажени и хлестнула по углу лабаза, и с угла пошёл пар.

ВЕДОМОСТЬ. Приход.

Открыта ячейка вторая. Навык: Струя, ступень первая.

Давление и дальность: 2 сажени. Списано с остатка: 100 рублей.

Израсходовано телом: на шесть часов работы.

Две сажени, ага. Я только что достал на четыре.

Потом сообразил: две сажени — это то, что она мне обещает как рабочее. А четыре я взял разом, всё, что было, и оттого у меня сейчас звенело в ушах и кровь шла носом, и я этого даже не заметил.

К рассвету приехала труба.

Я услышал её раньше, чем увидел: железный грохот по камню, крик, ругань, и опять грохот. Её тащили шестеро, и тащили, судя по звуку, волоком там, где не проходили колёса.

Это была ручная пожарная труба, и я смотрел на неё, как смотрят на музейный экспонат, который вдруг поехал. Деревянный ящик на колёсах, два коромысла по бокам, медный цилиндр, кожаный рукав в две сажени и медный ствол. Качать надо вчетвером, по двое на коромысло.

Рядом с ней шёл немолодой человек в мундире, в очках, и на ходу вытирал очки о полу кафтана.

— Поздно, — сказал он сам себе, без всякого выражения, глядя на догорающее. — Ну разумеется. Первое: сорок минут от Варварки. Второе: по Мокринскому не прошли, обходили. И в-третьих, лошадь сегодня взята под казённую надобность, и потому мы её тащили руками.

— Восемь вёдер в минуту? — спросил я.

Он повернулся ко мне так резко, что очки чуть не слетели.

— Что вы сказали?

— Труба, — сказал я. — Пфейлевская, голландского образца? Восемь вёдер в минуту, ствол бьёт сажень на шесть, качают четверо со сменой каждые десять минут, иначе руки отваливаются.

Человек в очках надел очки, посмотрел на меня через них, снял и стал протирать снова.

— Иоганн Христианович Пфейль, — сказал он наконец. — Огневой мастер при полицейской канцелярии. А вы, простите, кто такой?

— Ртищев. Артемий Григорьевич.

— Ртищев. — Он сощурился. — Горелый двор в ночь на девятое. Соболезную. Откуда вы знаете про восемь вёдер?

Хороший вопрос. Второй раз за четыре дня мне задают этот вопрос, и второй раз мне нечего ответить.

— Читал, — сказал я.

— Где, позвольте спросить? — Пфейль сказал это очень вежливо и очень холодно. — По-русски о сём не напечатано ни строки. По-голландски напечатано, по-немецки напечатано. Вы читаете по-немецки?

— Нет.

— Тогда вы либо лжёте, либо где-то видели её в работе. — Он посмотрел на мои обмотанные ладони, на прожжённую в двух местах рубаху, на мокрые волосы. — Вы в этот дым лазили?

— Трижды.

— Сколько вынесли?

— Трёх. Четвёртого не успел.

Пфейль надел очки и очень долго на меня смотрел. Потом достал из-за отворота сложенную бумагу и карандаш.

— Опишите мне, как вы туда ходили, — сказал он. — По пунктам. Я запишу.

Я описал. Про слой воздуха у пола, про стену и счёт шагов, про то, что надо ставить человека на выходе и убирать проход, про то, что вышедших надо считать вслух. Заняло это минуты три. Пфейль писал, ни разу не перебив, потом перечитал, потом снял очки и потёр глаза.

— Я служу восемнадцать лет, — сказал он. — Я это знаю, всё, до последнего слова. Я это писал в рапорте в шестьдесят девятом году. Мне отвечено, что для сего потребны люди, а людей нет.

— Сколько у вас людей?

— Двенадцать солдат. Из них сегодня шесть, потому что четверо на карауле и двое больны. — Пфейль убрал бумагу. — Труб в Москве три. Рабочая одна. Вот она.

Одна труба. На город в восемь вёрст, который весь из дерева.

Я хотел сказать что-нибудь, и в этот момент подошёл квартальный и стал у Пфейля что-то спрашивать про число дворов, а Иоганн Христианович извинился и отошёл. И вот тут-то Ведомость и решила подвести итог.

ВЕДОМОСТЬ. Итог.

Отвращено: 210 рублей.

Из них по головам: баба, работница — 60 рублей. Мастерской с ремеслом — 120 рублей. Ребёнок до семи лет — 30 рублей.

Зачтено в рост: 96 рублей — работа Дара.

Остаток к расчёту: 8 рублей.

Я прочитал это дважды и пошёл в сторону, к забору, потому что мне надо было постоять одному.

Шестьдесят. Сто двадцать. Тридцать.

Баба, которая сидела у стены и не могла встать, стоит шестьдесят рублей. Мужик с руками бондаря — сто двадцать, потому что с ремеслом, ремесло надбавка. Мальчишка лет пяти — тридцать, потому что до семи лет ребёнок дешевле бабы вдвое.

Это не цинизм Ведомости. Вот что самое поганое. Это не она придумала — это казённая цена, она в бумагах написана, по ней считают убыток от мора и от пожара, по ней выплачивают, по ней спорят в присутствиях. Тридцать рублей за ребёнка до семи лет. Это цена коровы с прибавкой.

Она просто взяла и сказала мне вслух то, что этот мир и так думает. И я не мог даже толком разозлиться на неё, потому что злиться надо было не на неё.

А ещё — и вот с этим я потом жил долго — я поймал себя на том, что посчитал. Автоматически, за долю секунды, прежде чем успел себя остановить: троих вынес, это двести десять. Четвёртого не вынес, и он был мужчина тридцати лет с ремеслом, значит, сто двадцать.

Сто двадцать рублей, которые я не взял.

Вот тут меня и замутило по-настоящему, и я довольно позорно постоял у забора, упершись в него лбом.

Домой я пришёл, когда уже совсем рассвело, и Дуня не спросила ничего. Она поставила на стол плюшку с водой, посмотрела на мою рубаху, посмотрела на руки и села напротив с тетрадкой, потому что это был единственный способ разговора, который она знала.

— Трое, — сказал я. — Баба, мастеровой и мальчик лет пяти. Четвёртого не вынес.

— Как звали?

— Кого?

— Четвёртого, — сказала Дуня.

Вот тут я понял, что не знаю. И что мне даже в голову не пришло спросить, а пришло в голову совсем другое — цена. Я сидел и молчал, наверное, с полминуты, и это была очень нехорошая полминута.

— Не знаю, — сказал я наконец. — Узнаю.

— Узнай. — Она открыла тетрадку и что-то там пометила. — Артемий, а тебе... — Дуня замялась, что с ней бывало раз в год. — Тебе за них что-нибудь дадут?

— Кто?

— Ну кто-нибудь. — Она пожала плечами. — За спасённых же, бывает, дают. Купцы дают, или приход, или из казны. Я слышала, что за спасённого на пожаре положено.

— Положено?

— Не знаю. — Дуня посмотрела в потолок, вспоминая. — Я знаю, сколько положено за мёртвых. Это я знаю точно, потому что у нас в позапрошлом году спорили про Кондратьевых, у них девочка угорела. Ребёнок до семи лет — тридцать рублей. Баба — шестьдесят. Мужик простой — пятьдесят, а с ремеслом — сто двадцать. Дворянин без Дара — шестьсот.

Я сидел и смотрел на свою двенадцатилетнюю сестру, которая наизусть, без запинки, как молитву, читала мне ту самую таблицу, которую час назад показала Ведомость. До копейки. До последней строчки.

Значит, это не Ведомость такая. Это мир такой, а она просто в нём грамотная.

— Откуда ты это знаешь? — спросил я.

— Так это все знают, — удивилась Дуня. — Это ж казённая цена, по ней возмещают. Батюшка говорил, что цену человеку придумали затем, чтоб было чем платить, а не затем, чтоб человека мерить. Он говорил, что это разные вещи и что их всё время путают.

— А ты как думаешь?

— Я думаю, он себя утешал, — сказала Дуня и закрыла тетрадку.

Следующие сутки я провалялся.

Это было не геройское изнеможение, а нормальная расплата, и я знал, за что плачу: три захода в дым без маски, шесть часов работы, открытие второй ячейки на пределе и четыре

сажени струи вместо двух. По отдельности — терпимо. Вместе — сутки на спине, и сутки эти были мерзкие. Меня мутило, ломило кости, руки не держали ложку, и я лежал и смотрел в бревенчатый потолок, по которому опять ходил таракан, может, тот же самый.

Устинья пришла в полдень. Принесла воду в той самой деревянной кружке, поставила на лавку и села у двери, и сидела молча минуты три.

— Отец сказал, вы в дым лазили, — сказала она наконец.

— Лазил.

— Трижды.

— Трижды.

— Дурак, — сказала Устинья спокойно. — Вам девятнадцать лет, у вас сестра, и вы всё имущество рода вчера на мою кожу извели. А теперь вы тут лежите, и если помрёте, то её возьмут Опалевы, и никто даже не спросит.

Я ничего не ответил, потому что ответить было нечего.

— Пейте, — сказала она. — Это с Псковского.

— Вы же говорили, он завален.

— Он завален. — Устинья чуть усмехнулась, в первый раз при мне. — А я мальчишкой с отцом туда лазила, когда его ещё чистили, и знаю, где у него вторая жила выходит, в двадцати саженьях. Там воды на два ведра в сутки набирается. Я вам оттуда принесла.

Она ушла, а я лежал и думал про два ведра в сутки из заваленного колодца и про то, что в этом квартале, кажется, есть ровно один человек, который знает про воду больше меня.

Вдова пришла на другой день, восемнадцатого.

Я об этом узнал от Дуни, а Дуня — от Матрёны, и я встал и пошёл, хотя стоять ещё толком не мог. На пепелище стояла баба лет двадцати пяти, в платке, с узлом, и рядом с ней топтался квартальный служитель, и она всё спрашивала, как же ей теперь опознавать, если нечего.

Его звали Никифор Прокудин. Тридцать два года. Бондарь. Пришёл в Москву из Коломенского на заработки в апреле и ночевал на Балчуге, потому что копейка за ночь, а комната — три в месяц.

Я стоял шагах в двадцати и не подошёл. Не потому, что стыдно — хотя стыдно тоже. А потому, что я в прошлой жизни сорок раз видел, как подходят и говорят «мы сделали всё, что могли», и знаю, как это звучит с той стороны.

Я просто записал имя. Себе, в голову, а потом попросил Дуню записать в тетрадку, и она записала, и спросила только:

— Отдельной строкой?

— Отдельной.

К вечеру восемнадцатого я уже стоял на ногах, и вот тогда ко мне и пришёл Пфейль.

Он пришёл сам, пешком, через весь квартал, и разыскал людскую при дворе Опалевых, и постоял у калитки, пока меня звали. Вид у него был такой, будто он третьи сутки чего-то решал и наконец решил.

— Артемий Григорьевич, — сказал он, протирая очки о полу кафтана. — Я к вам с числом.

— С каким числом?

— За неполный май, — сказал он, — в Зарядье это девятый пожар.

— Сколько бывает обычно?

— Три. — Он надел очки. — Три в месяц, и это по всему Зарядью, и это считается много, потому что у нас тесно и топят по-чёрному. А нынче восемнадцатое, и девятый.

Я стоял и смотрел на него.

— Может, сухо, — сказал я.

— Сухо, — согласился Пфейль. — Сухо было и в семьдесят первом году, и в шестьдесят восьмом. В семьдесят первом за май вышло четыре. — Он помолчал. — Я, извольте видеть,

веду счёт. Восемнадцать лет. Мне за это не платят и меня об этом не просят, но я веду, потому что иначе непонятно, о чём писать в рапорте.

— И что говорит ваш счёт?

— Мой счёт говорит, что дело не в погоде, — сказал Иоганн Христианович Пфейль и снова снял очки. — Мой счёт, Артемий Григорьевич, говорит, что в Зарядье в этом мае что-то происходит. А что именно — этого мой счёт не говорит, потому что для сего надобно уметь считать не только пожары.

Глава 4. Тихий человек

Деньги кончились девятнадцатого мая, в среду, около полудня.

Формально они не кончились — формально в сундуке лежало два рубля сорок шесть копеек, и Дуня записала это тем же аккуратным почерком, каким записывала всё. Но кончились они по существу, потому что два сорок шесть — это тридцать дней хлеба без масла на двоих, а до Покрова оставалось сто тридцать шесть, и любой человек, умеющий делить, видел тут дыру в сто шесть дней.

Я умел делить. Дуня тоже умела, и с утра ходила молча, что у неё означало худшее.

— Артемий.

— Да.

— Я схожу к Овчине с батюшкиным кафтаном.

— Не пойдёшь.

— Рубль двадцать, — сказала Дуня. — Это пятнадцать дней. Пятнадцать дней — это не мало.

— Не пойдёшь, — повторил я. — Не потому, что кафтан жалко. Потому что он у нас единственная вещь, которую можно продать, и продавать её надо в тот момент, когда от этого что-то изменится. А сейчас она изменит на пятнадцать дней, и всё.

Дуня подумала. Кивнула. Записала.

Я, честно говоря, ждал, что она поспорит, — и, когда она не поспорила, мне стало ещё паршивее. Двенадцатилетний ребёнок принял мой довод, потому что довод был арифметический, а с арифметикой она не спорила никогда. Что я буду делать через эти тридцать дней, у меня ответа не было.

И вот в этом состоянии я вышел со двора и на третьем шаге поймал вора.

Он был хорош. Правда хорош: я его не видел и не слышал, я его просто почувствовал спиной — знаете, как бывает, когда кто-то идёт слишком ровно за тобой и слишком долго. Я обернулся резко и ухватил за шиворот, и в горсти у меня оказался тощий парнишка лет шестнадцати, и в руке у него был мой пояс с кошельком, в котором лежало ничего.

— Пусти, — сказал он.

— Верни.

— Чего вернуть-то? — Он смотрел на меня с удивительно честным лицом. — Я и не брал. Я шёл. У меня и в руках ничего.

Пояс висел у него в кулаке, в двух вершках от моего носа.

— В левой руке, — подсказал я.

Парнишка посмотрел на левую руку с искренним изумлением, как будто она была не его.

— А. Ну. Так это я подобрал. — Он подумал и добавил: — Оно валялось... ну, не валялось. Ладно, я снял.

И протянул мне пояс.

Меня, признаться, это обезоружило. Я в прошлой жизни имел дело с разными людьми, включая тех, кто крадёт у пожарных на пожаре, и мне ни разу не попадался вор, который врёт и тут же сам себя поправляет.

— Тебя как звать?

— Прощка. Хлуд. — Он потёр шею, за которую я его держал, и не убежал, хотя я уже отпустил. — А ты Ртищев, который на Балчуге в дым лазил.

— Я.

— Тебя весь квартал знает, — сообщил Прощка деловито. — Говорят, ты трёх вынес. Или четырёх. Говорят, ты за них денег не взял, и потому ты либо святой, либо дурак.

— А ты как думаешь?

— Я думаю, у тебя брать нечего было, — честно сказал он. — Я вот у тебя взял, а там пусто. Барин, а у тебя правда в кошеле ничего?

— Ничего.

— А чего ж ты тогда вообще ходишь?

Отличный вопрос, Прошка. Просто отличный.

— Работу ищу, — сказал я.

— А, — сказал он и посмотрел на меня как-то иначе. — Ну, тогда тебе к Кузьме. К нему все идут, кому работа.

Вот так я и узнал про Кузьму Рваного — от вора, который у меня же и снял пояс, и в этом, если подумать, есть определённая законченность сюжета.

Идти было недалеко. Прошка вёл меня проходными дворами, которых я не знал и, как выяснилось, не знал бы никогда: в Зарядье между дворами существует вторая сеть путей, через лазы в заплатах, через чужие сени и по крышам, и знают её человек двадцать, и все двадцать — такие, как он.

— Ты крышами ходишь? — спросил я.

— Крышами быстрее.

— Покажешь как-нибудь?

Прошка остановился и посмотрел на меня с подозрением.

— Зачем тебе?

— Затем, что с крыши видно, куда пойдёт огонь, — сказал я. — А снизу не видно ни черта.

Он подумал. Пожевал обрывок верёвочки, который вынул из-за пазухи.

— Может, и покажу, — сказал он неопределённо. — Пришли.

Кузьма Рваный сидел в задней комнате питейного дома на Ножовом, и в комнате было темно, потому что ставень был прикрыт, хотя на дворе стоял полдень.

Ему было лет тридцать пять. Небольшой, сухой, с аккуратно подстриженной бородкой, в чистой рубаше — чище, чем у меня. Шрама, из-за которого он был Рваный, я так и не разглядел: то ли на затылке, то ли его вовсе не было, а прозвище досталось от отца. Он сидел за столом и чистил ногти щепкой.

— Садись, — сказал он.

Сказал он это так тихо, что я скорее угадал, чем услышал. И сел ближе, чем собирался, потому что иначе было не разобрать.

Позже я понял, что это приём, и приём отличный. Человек, который говорит тихо, заставляет к себе наклоняться. А тот, кто наклонился, уже как бы слушает внимательно и как бы соглашается, и тело у него уже в позе просителя, хотя он ещё ничего не попросил.

— Ртищев, — сказал Кузьма. — Горелый. Григория Саввича сын.

— Он самый.

— Соболезную. — Он не поднял глаз от ногтей. — Батюшка твой был человек тихий и в чужие дела не лез. Хороший был человек.

— Спасибо.

— Я к тому говорю, — сказал Кузьма всё так же тихо, — что ты на него непохож.

В комнате было очень тихо. Из общей залы доносился гул, и от этого тишина в комнате была ещё гуще.

— Ты, Артемий Григорьевич, за неделю трижды успел, — продолжал он. — У Опалевых заплот ломал. На Балчуге в дым лазил. На водовозном дворе бочки чинишь и всё распрашиваешь, где в квартале вода. Я не в укор. Я говорю, что ты шумный.

— Я тушу, — сказал я.

— Я вижу, что ты тушишь. — Кузьма отложил щепку и наконец посмотрел на меня, и глаза у него были совершенно спокойные и совершенно неживые, как у человека, который

давно всё для себя решил. — И вот тут у нас с тобой выходит разговор. Потому что я, Артемий Григорьевич, в этом квартале старшина ночных. Слыхал, кто такие ночные?

— Сторожа.

— Сторожа, — согласился он. — Ходим ночью, глядим, чтоб чего не вышло. За то с дворов нам идёт по копейке в неделю, а с лабазов по три. Дело законное, тихое, все довольны.

Я молчал. Я умею молчать, и это иногда очень полезно.

— И вот приходит человек, — сказал Кузьма, — и начинает на пожарах распоряжаться. И народ его слушает. И народ начинает думать, что, может, и не надо гореть-то. А я тебе скажу как есть: гореть надо.

— Зачем?

— Затем, что иначе никто копейку в неделю не платит, — просто сказал он. — Люди платят за страх. Нет страха — нет копейки. Ты мне страх портишь.

Вот тут я, признаюсь, зауважал его. Не полюбил — зауважал. Он выложил свою механику на стол за две минуты, без вранья, без обиняков, и выложил потому, что не считал нужным её прятать: она была для него так же естественна, как для меня — направление ветра.

— И чего вы хотите?

— Малого. — Кузьма снова взялся за щепку. — Не лезь. Тушить не запрещаю, боже упаси, туши на здоровье, коли своё горит. А в чужое не лезь и не командуй. И людей не сбивай.

— А если полезу?

— Тогда будет неудобно, — сказал он тихо. — Тебе. Сестре твоей.

Он сказал это без нажима и без угрозы, так же ровно, как говорил про копейку в неделю. И вот это было гораздо хуже, чем если бы он стукнул кулаком.

— А есть и второй путь, — добавил Кузьма после паузы. — Получше.

— Какой?

— Будь своим человеком. — Он чуть подался вперёд, и мне опять пришлось наклониться. — Ты на пожарах первый. Ты в чужие дворыходишь, и тебя пускают, и тебе спасибо говорят. Ходи, туши, а заодно примечай. У кого в лабазе что лежит, у кого сколько мехов, у кого замок худой. Приходи ко мне и рассказывай. За это плачу. Хорошо плачу.

— Сколько?

— Рубль в неделю, — сказал Кузьма. — Для начала.

Рубль в неделю. Четыре в месяц. Сорок восемь в год — четверть жалованья квартального надзирателя, и это, по здешним меркам, для девятнадцатилетнего погорельца без гроша просто огромные деньги.

И знаете, что самое мерзкое? Я посчитал.

Автоматически, за долю секунды, прежде чем успел себя остановить, ровно как посчитал тогда сто двадцать рублей за невынесенного бондаря. Рубль в неделю — это сто тридцать шесть дней до Покрова, это девятнадцать недель, это девятнадцать рублей. Шесть процентов долга.

Шесть процентов. За то, чтоб быть наводчиком.

— Нет, — сказал я вслух.

— Подумай.

— Я подумал. Нет.

Кузьма не рассердился. Он вообще, по-моему, не умел сердиться — во всяком случае, я за всю книгу ни разу не видел, чтоб он повысил голос.

— Ну нет так нет, — сказал он и опять занялся ногтями. — Ты, Артемий Григорьевич, человек, видно, честный. Это ничего, это проходит.

Я встал, чтоб уйти.

— Постой, — сказал Кузьма. — Работа-то тебе нужна?

Я остановился. Вот на этом месте я и попался, и попался красиво, по всем правилам, и до сих пор снимаю шляпу.

— Нужна.

— Есть работа. — Он говорил всё так же тихо и ни разу не посмотрел на меня. — Погоревшее место на Ветошном ряду. Сгорело в позапрошлую пятницу, хозяин помер прошлым годом, наследников нет, место отходит к разбору. Надо разобрать: головни вывезти, что целое — отложить, железо собрать, кирпич обить. Работа грязная, недели на полторы, если вдвоём.

— Кто платит?

— Я плачу. — Кузьма пожал плечами. — Я подряд взял на вывоз. Шесть рублей задатком, остальное по концу. Возьмёшься?

Шесть рублей.

Я стоял в тёмной комнате и очень чётко видел две вещи сразу.

Первое: шесть рублей — это девяносто дней хлеба. Это ровно та дыра, которую я утром не знал чем заткнуть.

Второе: этот человек только что предложил мне стать наводчиком, я отказался, и через полминуты он предложил мне деньги. Не из доброты. И «взял подряд на вывоз» — это, может быть, правда, а может быть, и нет, и проверить я это не могу никак.

Правильный ответ был — спросить. Спросить прямо: Кузьма Ерофеич, а вы на этом месте что собираетесь строить и почему вам так важно, чтоб его разобрал именно я? Спросить и посмотреть, что он ответит.

Я не спросил.

Я не спросил потому, что у меня дома сидела сестра, которая утром собиралась нести отцовский кафтан к ростовщику за рубль двадцать. И потому, что мне очень, очень нужны были эти шесть рублей.

— Возмусь, — сказал я.

Кузьма выложил на стол шесть рублей серебром, ровным столбиком, и подвинул ко мне щепкой, не касаясь руками.

— Прошку бери в помощь, — сказал он. — Он тебе всё равно уже приглянулся, я вижу.

Вот тут я понял, что Прошка привёл меня сюда не случайно, и что за это ему, скорее всего, тоже заплатили, и что я сижу в этой комнате ровно потому, что кто-то полчаса назад решил, что я тут буду сидеть.

— И вот ещё что, — сказал Кузьма, когда я был уже в дверях. — Ты, Артемий Григорьевич, до Ильина дня пока не усердствуй.

Я обернулся.

— Почему до Ильина?

— Потому что к Ильину дню, — сказал Кузьма Рванный очень тихо и очень спокойно, — в квартале станет просторнее.

Место на Ветошном оказалось хуже, чем я думал, и лучше, чем я боялся.

Хуже — потому что сгорело оно основательно: два строения, лабаз и жильё, сложились внутрь, и теперь это была куча в две сажени высотой из обгорелых брёвен, битого кирпича, кровельного железа и прочего, что бывает, когда дом умирает.

Лучше — потому что в такой куче я как раз разбираюсь.

— Не туда лезешь, — сказал я Прошке на второй час. — Вон оттуда начинай.

— А чего оттуда? Тут же ближе.

— Тут ближе, а вон та балка держит вон ту стену. — Я показал. — Ты из-под неё вытащишь одну головню, и стена тебе на голову. Разбирают сверху и с того края, куда падать будет.

Прошка посмотрел на балку. Потом на стену. Потом на меня.

— Ты откуда всё знаешь-то? — спросил он с раздражением. — Тебе девятнадцать.

— Мне сто девятнадцать, — сказал я. — Таскай.

Работали мы два дня и вымотались как собаки. Прошка, к моему удивлению, оказался работающим: он вертелся, врал, отлынивал первые полчаса, а потом втянулся и таскал наравне,

и на второй день уже сам показывал мне, где под завалом пустоты, потому что чувствовал их лучше меня.

К обеду второго дня он сел на бревно, вытер лицо и сказал ни с того ни с сего:

— Барин, а сколько ты за это получишь?

— Двенадцать рублей. Шесть задатком, шесть по концу.

— А мне сколько?

Я остановился с ломом в руках.

Вот это, между прочим, был правильный вопрос, и я его не ждал, потому что за полтора дня успел привыкнуть, что парень просто ходит за мной.

— Половину, — сказал я.

— Шесть рублей? — Проща поперхнулся. — Ты чего, барин.

— Работаем вдвоём. Значит, пополам.

— Так ты ж барин, а я кто.

— Ты человек, который два дня таскает головни, — сказал я. — Барин тут ни при чём, барин у меня в бумагах, а не в работе.

Проща помолчал, пожевал свою верёвочку и вдруг сказал совсем другим голосом:

— Мне сорок надо.

— Сорок чего?

— Рублей, — сказал он. — Сорок рублей.

Я сел рядом.

— Зачем?

Он долго не отвечал, и я уже решил, что не ответит.

— Мать выкупить, — сказал Проща. — Она в кабале у Овчины. Четвёртый год.

— За сорок рублей?

— За сорок. — Он смотрел в землю. — Батя помер в шестьдесят девятом, и осталось одиннадцать рублей долгу, и она пошла в кабалу, а по кабале что ни год, то больше, потому как процент идёт, а отрабатывается едой. Нынче сорок.

— Она где?

— У него в лабазах. Метёт, стирает, за птицей ходит. — Проща сплюнул. — Он её не бьёт, я не говорю. Он её просто не отпустит, куда сорок не будет.

Я сидел и считал. Сорок рублей при зарботке подёнщика в двенадцать рублей в год — это, если ничего не есть, три года и четыре месяца.

— Поэтому ты форточник, — сказал я.

— Поэтому я форточник, — согласился Проща. — Только у меня за четыре года семь рублей скопилось, вот и вся моя ловкость. Я, барин, вор плохой. Я крыши знаю хорошо, а воровать не умею: мне всё жалко.

Он поднялся и взялся за носилки.

— Ты не думай, я не жалуюсь, — сказал он. — Я к тому, что шесть рублей — это хорошо. Это шестая часть.

Я записал эти сорок рублей себе в голову в тот же день и носил их два года.

А на второй день, к вечеру, в глубине кучи затлело.

Такое бывает: в пепелище неделями держится жар, под слоем золы, без доступа воздуха, и стоит разворошить — как оно вздыхает и берётся. Мы разворошили, и оно взялось, и в пяти саженях стоял соседский дровяник, полный сухих дров.

— Воду! — заорал Проща и рванул к бочке.

— Стой! — Я его поймал за плечо. — Не туда. Дровяник поливай.

— Да там же горит!

— Там горит куча головней, которая всё равно сгорит, — сказал я. — А дровяник ещё нет. Поливай дровяник, потом вернёмся.

Мы полили дровяник. Потом я собрал свои два ведра и положил их плотной пеленой на очаг — не выплеснул, а прижал, — и оно зашипело, задохнулось и погасло, и всё заняло минуты четыре.

ВЕДОМОСТЬ. Приход.

Отвращено: 30 рублей — дровяник с дровами, двор Селиванова.

Зачтено в рост: 7 рублей — работа Дара.

Остаток к расчёту: 15 рублей.

Прошка стоял и смотрел на меня, и в руках у него было пустое ведро.

— Барин, — сказал он. — А ты это как сделал?

— Что сделал?

— Ну вот это. — Он показал ведром. — Вода-то... она у тебя не вылилась. Она легла.

Я не сразу нашёлся. Мне до сих пор в голову не приходило, что со стороны это как-то выглядит.

— Дар у меня такой, — сказал я. — Влага. Четвёртый разряд.

— Шесток?

— Шесток.

Прошка подумал, сплюнул и сказал с непередаваемым уважением:

— Ну ни фиги себе шесток.

Домой я пришёл затемно, вывалил на стол шесть рублей серебром и впервые за неделю увидел, как моя сестра растерялась.

Она не обрадовалась. Она посмотрела на деньги, потом на меня, потом опять на деньги и взялась за карандаш, и я видел, что она считает не приход, а что-то другое.

— Артемий, — сказала Дуня. — А за что?

— За разбор погорелого места на Ветошном. Задаток. Работы недели на полторы.

— Кто платит?

— Кузьма Рваный, — сказал я. — Он взял подряд на вывоз.

Дуня положила карандаш. Вот это, как я уже говорил, было у неё дурным знаком.

— А ты спросил, — сказала она, — зачем ему это место?

Я открыл рот и закрыл.

— Нет, — сказал я.

— Он платит шесть рублей задатком, — проговорила Дуня медленно, как считают вслух. — За разбор. А место это, я знаю, потому что Матрёна говорила, за место это давали двадцать два рубля, и хозяйка не продала, а потом хозяйка померла. И наследников нету. И оно сгорело.

— Дуня.

— Двадцать два рубля стоит место, — сказала она. — А он на разбор кладёт шесть рублей задатка, значит, всего рублей двенадцать. Половину цены места — за то, чтоб его разобрали. Кто ж так делает?

Я сидел и молчал.

Она была права. Она была права настолько, что мне стало холодно: я прошёл мимо этого, потому что смотрел на кучу головней глазами человека, который умеет их разбирать, а не человека, который умеет считать. А ведь считать — это, по идее, теперь моё главное умение.

— Ты деньги-то возьмёшь? — спросила Дуня.

Шесть рублей лежали на столе. Девяносто дней хлеба.

— Возьму, — сказал я.

Интерлюдия I. Ножовый переулок, 21 мая

Кузьма Рваный

Я не люблю, когда приезжают.

Оттого и держу заднюю комнату: в неё есть ход со двора, мимо поварни, и кто входит — того из залы не видно. Свой знают, чужие не знают. Шестнадцать лет так, и ни разу меня по этому ходу не взяли.

А приезжают всегда одинаково. Возок останавливается не у крыльца, а за два дома, у бочки. Идёт человек в сером — всегда в сером, и всегда, заметьте, разный, я за два года четверых разных видел. Стучит не в дверь, а в ставень, два раза и один. Садится, не снимая шляпы, и кладёт на стол то, что привёз.

В этот раз привезли деньги и бумагу.

Деньги я пересчитал при нём, как положено: двести рублей ассигнациями, мелкими, потёртыми, какие ходят по рукам. Такие деньги хороши тем, что их нельзя опознать. Сто рублей, помеченных банком, я бы не взял и в прошлый раз не взял, и они с тех пор возят мелкими. Понятливые.

Бумагу я пересчитывать не стал. Я её сперва пощупал.

Вот что я вам скажу про бумагу, и вы запомните, потому что это дороже всякого разговора. Бумага у нас в Москве шершавая, сероватая, на просвет мутная, и по краю у неё зубец неровный, потому как рвут руками. А эта была гладкая, белая, тяжёлая — я такую в руках держал четыре раза в жизни, и все четыре раза мне за неё платили. И на просвет в ней стоял водяной знак: корона и под короной буквы, каких я не разбираю, потому что грамоте учен плохо и не стыжусь.

Такую бумагу в Зарядье не купишь ни за какие деньги. Такую бумагу привозят.

На бумаге был расписан мой квартал.

Не улицами — дворами. Двор за двором, подряд, и против каждого двора столбиком число. Против иных дворов чернилами покрепче, против иных послабее, а иные и вовсе зачёркнуты крест-накрест, и я сперва решил, что писарь ошибся, а после понял, что зачёркнутые — это которые уже.

Три двора зачёркнуто. Ветошный ряд, Селивановский угол и то место, где у нас в позапрошлом году стояла баня Кондратьевых.

— Тут числа, — сказал я. — Это что за числа?

— Это сроки, — сказал человек в сером.

Я посмотрел ещё раз. Против Ветошного стояло «до Николы вешнего», и Ветошный сгорел в позапрошлую пятницу, стало быть, успели. Против следующего стояло «до Иванова дня». Против третьего — «до Ильина».

И так до конца листа, а лист был исписан с двух сторон.

Я человек не робкий, но тут у меня по спине прошло.

— До Ильина многовато будет, — сказал я осторожно. — Тут одиннадцать дворов до Ильина.

— Одиннадцать, — согласился человек в сером.

— В квартале шестьдесят.

— Шестьдесят, — согласился он опять и поправил манжету.

Манжету я запомнил, потому что больше запоминать было нечего. Шляпы он не снял, в лицо я ему не глядел — не по робости, а по науке: не гляди в лицо тому, кого потом могут спросить, видал ли ты его. А манжета была на виду, на столе, в двух вершках от моей руки: тонкое полотно, голландское, и по краю мелкая строчка в три нитки. У нас так не шьют. У нас и полотна такого нет.

Руки у него, кстати, были не барские. Руки были писарские: на среднем пальце мозоль от пера, крупная, застарелая.

— А ежели не выйдет? — спросил я.

— Отчего не выйти?

— Оттого, — сказал я, — что в квартале завёлся человек.

И вот тут он в первый раз за весь разговор повернул голову.

— Какой человек?

— Тушит, — сказал я. — Молодой, из горелых дворян. За неделю трижды при народе распорядился, и народ слушал. Я с ним говорил нынче. Предлагал по-хорошему, не пошёл.

Человек в сером помолчал. Потом придвинул к себе лист, посмотрел на него и опять отодвинул.

— Сколько ему лет?

— Девятнадцать.

— Деньги у него есть?

— Нету.

— Люди у него есть?

— Нету, — сказал я. — Покуда нету.

— Тогда это не человек, — сказал он и встал. — Это помеха. Помеху не убирают, помеху занимают. Дайте ему работу, Кузьма Ерофеич, и дайте так, чтоб он за неё держался. Занятый человек тушить не бежит.

— Уже дал, — сказал я. — Шесть рублей задатком, разбор на Ветошном.

Он в первый раз что-то вроде хмыкнул. То ли одобрительно, то ли нет — по манжете не разберёшь.

— Это правильно, — сказал он. — И пусть разбирает подольше.

Он ушёл тем же ходом, мимо поварни, и возок тронулся не сразу, а через минуты три, — я слушал.

А я остался сидеть с двумястами рублями и с листом.

И вот что я вам скажу напоследок, а после забудьте, потому что я этого никому не говорил и не скажу.

Мне сорок первый год. Я в этом квартале родился, в этом квартале двадцать лет хожу по ночам, и мне тут всякая подворотня как своя ладонь. Я с этого квартала кормлюсь, и кормлюсь не по-божески, и я про себя всё знаю и давно уж не оправдываюсь.

Но я сроду не поджигал по росписи.

Поджечь лабаз, чтоб хозяин стал сговорчивее, — это дело. Поджечь пустой двор, чтоб место упало в цене, — это тоже дело. А вот когда тебе привозят лист хорошей бумаги, и на листе шестьдесят дворов, и против одиннадцати стоит «до Ильина», — это уже не дело.

Это уже чья-то работа, и я в ней не хозяин. Я в ней вроде метлы.

Метла, положим, тоже нужна. Только метлу после работы ставят в угол, а бывает, что и жгут — чтоб не оставалось.

Я сложил лист вчетверо и убрал за божницу, где у меня лежит всё, чего нельзя терять.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.